

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЁВА

УДК 172.15
ББК 60.545(2)1

В.К. КАНТОР
Государственный университет –
Высшая школа экономики, г. Москва

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ О СОБЛАЗНЕ НАЦИОНАЛИЗМА¹

Анализируется проблема национализма в творчестве Владимира Соловьёва на основе его книги «Национальный вопрос в России» (в качестве камертона взята маленькая статья философа «О соблазнах»). Боровшийся с идолопоклонством во всех его видах, самым страшным идолом России Соловьёв считал национализм. Он разделял национализм на корыстный и теоретический (Данилевский, Страхов и т.п.). Как показывает автор, кумир национализма привел к падению великой державы. Таково доказательство от противоположного правоты Соловьёва.

In this article the author analyses the Problem of nationalism in Vladimir Solovyev's works on the basis of his book "Nationality question in Russia" in the context of his small article "About Temptations". Solovyev struggles against idolatry and considers nationalism to be the very awful idol of Russia. He divides nationalism into mercenary and theoretical (Danilevsky, Strachov and so on). As the author shows, the cult figure of nationalism puts great power to failure. It is the contrary proof by Vladimir Solovyev.

Ключевые слова: Соловьёв, Данилевский, Страхов, Леонтьев, Трубецкой, национализм, идолопоклонство, соблазн, Европа, Германия, Россия, большевизм, либерализм, западники, славянофилы.

Key words: Solovyev, Danilevsky, Strachov, Leontyev, Trubetskoy, nationalism, idolatry, temptation, Europe, Germany, Russia, bolshevism, liberalism, Westernizes, Slavophiles.

Стоит заметить, что русские грехи и соблазны почти всегда принимались с восторгом Западом как русская духовность, ибо греховное ближе человеческой натуре, нежели простота правды. В русских видели (и видят до сих пор) националистов, ненавистников петровской реформы, поклонников таинственной народной души, враждебных просвещению и т.п. Эти идолы, бесспорно, присутствовали в сознании, не скажем, народном, но в сознании публицистов, говоривших вроде бы от лица народа и страны. Однако в России, как и в других культурах, всегда находились избранные – пророки, мыслители, писатели, – выступавшие против национальных грехов, против национальных идолов, за что были нелюбимы своими современниками. Одним из таких пророков, как мы знаем, был Владимир Соловьёв. Е.Н. Трубецкой писал: «Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью. В особенности жестоко доставалось от него наиболее вредным из всех идолов – идолам политическим»². В основе русского идолопоклонства лежал заимствованный из Европы (прежде всего, из Германии), но удивительно обрусевший идол национализма. А поскольку

следом за немцами основу национального пафоса искали в простом народе, то народопоклонство, нелюбовь к городам, к Петру Великому, к интеллигенции (по тогдашней терминологии – к образованному обществу) и связанный с нелюбовью к интеллигенции, студенчеству, Европе, инородцам антисемитизм стали как бы естественным следствием национализма. Забывалось главное, что в отличие от Германии Россия, по крайней мере, с Петра Великого – империя, а потому полиэтническая страна, что русские – явление многосоставное, возникшее из скрещения многих народов.

О возникновении великороссов из разных этносов писали многие историки-западники: от Осипа Сенковского до Василия Ключевского. Но существеннее другое. Историки «государственной школы» (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв) в противовес славянофилам брали за основу развития России государство (что прекрасно усвоил от своего отца Владимир Соловьёв), а не национально-племенные особенности. Скажем, С.М. Соловьёв писал «Историю России», а не «Историю Русского народа», как близкий славянофильским воззрениям Николай Полевой. Вслед за Пушкиным, не принявшим идей Полевого, они противопоставляли мифологической созидательности народа реальную преобразующую деятельность Петра Великого. Чаадаев в своих «Философических письмах» тоже говорил о России как некоей культурно-исторической общности, не принимая славянофильских «племенных перегородок» (Чаадаев). Себя от России при этом он не отделял. Постоянное его слово в рассказе о русских проблемах – «мы» («мы никогда не шли об руку с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода...»³). Такая позиция была расценена правительством и обществом, как безумие. Вообще, как ни странно, в российских самокритических по отношению к культуре текстах часто используется это патриотическое местоимение, но с негативно-аналитическим оттенком, вплоть до романа Замятина «Мы». Соответственно, возникала и ярость соплеменников, мол, мы не такие.

Соловьёв вроде бы избегает провоцирующего «мы», он пишет лично заинтересованно, но как бы со стороны, либо как философ, с «точки зрения вечности». Россия рассматривается им не как «мы», а как проблема. Что же вменяли ему в вину его оппоненты? Не надо долго гадать, чтобы понять: речь шла о нем как блудном сыне России. Стоит, пожалуй, привести фразу Н.Н. Страхова, в которой отношение к Владимиру Соловьёву наших националистов выражено наиболее внятно: «Много у меня предметов смущения, уныния и стыда, но за русский народ, за свою великую родину я не могу, не умею смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России? Сохрани нас Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем если бы я должен был стыдиться своего отца и своей матери. Иные речи г. Соловьёва об России кажутся мне просто непочтительными, дерзкими»⁴. Бердяев, правда, как-то заметил, разумеется, спустя многие годы после смерти противников, сравнивая Вл. Соловьёва и Л. Толстого, что философ говорил о России во всех ее проявлениях чрезвычайно положительно. При этом известно, многие критики писали, что в нем нет любви к родному очагу и отеческим гробам (Страхов упрекал его даже, что он не ценит своего великого отца). Но, казалось бы, что по иному, без

жесткости, даже жестокости, и нельзя противостоять идолопоклонству. Ницше, писавший примерно в те же годы, что и Соловьёв, о том, как надо бороться с кумирами, в предисловии к своей знаменитой книге говорил о своей злости: «В мире больше кумиров, нежели настоящих героев; таков мой «злой взгляд» на этот мир»⁵. Приведу все же слова Бердяева: «Толстой анархически отрицает все историческое, органическое, кровное, почвенное, отказывается от наследия предков, бросает вызов тому, что рождается из недр родной земли. Соловьёв все оправдывает и обосновывает, всему находит место: и государству, и национальности, и войне, и всему, всему. Он принимает заветы предков, хочет быть верным этим заветам, ни против чего не бунтует, ни с чем не порывает. В «Оправдании добра» он доходит до виртуозности в этом оправдании всего, что органически создано историей, в охранении всех исторических тел. И остается загадкой, почему такой воздушный, не почвенный, не земляной человек оправдывает и охраняет все историческое, из почвы выросшее, с землей связанное»⁶. Загадки, однако, никакой. Достаточно посмотреть на его посвящение деду-священнику и отцу-историку в трактате «Оправдание добра», чтобы понять чувство глубокой духовной преемственности с тем высшим, что было создано Россией. Лев Толстой таких предков не имел, достаточно перечитать его «Детство», рассказ о распавшейся семье. «Война и мир» – мечта и тоска по таким предкам. Когда же от мечты он переходил к реальности, ничего кроме отрицания и нигилизма он в себе не находил, ибо опирался только на себя.

Вместе с тем еще Е.Н. Трубецкой отметил, как особенность Вл. Соловьёва, его постоянную интеллектуальную оппозиционность. В годы торжества позитивизма в России он выступает против позитивизма, зато потом воздаёт должное Конту, когда позитивизм утратил свое абсолютное господство. Всякие кумиры были для него неприемлемы. К псевдосвятыням он испытывал что-то вроде идиосинкразии. Когда, уйдя от либеральных ценностей эпохи великих реформ, Александр III начинает ориентироваться на ценности патриархально-консервативные, используя националистическую фразеологию и идеи о нации, как основе государства, пришедшие с Запада, русский европеец Соловьёв начинает свой, можно сказать, «крестовый поход» против национализма, проблематизируя ситуацию и фразеологию. Вместо расплывчатых, берущих начало в романтизме понятий о русских, идущих на смену германским племенам, о славянах как антитезе германцам и тому подобных идеях, сохранившихся от ранних славянофилов и перешедших в мессианический панславизм у Бакунина и Герцена, он поднимает полемику до уровня философско-категориального аппарата, говоря о нации, национальности, национализме, как разрушительных идеях. В каком-то смысле едва ли не единственный из современников его идею поддержал Константин Леонтьев как автор цикла писем (1888 г.) «Национальная политика как орудие всемирной революции» (в своей тетради Леонтьев употребил позже слово «племенная»). Надо сказать, что с этим связана и попытка Соловьёва перевести православие как «племенную религию», по определению Чаадаева, на уровень европейского всеединства. Я имею в виду его концепцию всемирной теократии⁷. Не вдаваясь в изложение этой достаточно известной концепции о преодолении церковного разъединения под духов-

ным руководством Римского Папы и Русского императора, заметим только, что исходил мыслитель из понимания христианства как наднационального учения, преодолевающего национализм. В этом, кстати, он вполне был близок своему отцу, великому историку, писавшему: «Христианство, отрекаясь от временных политических форм, доступно всем векам, всем народам, на какой бы степени развития они ни находились, и ведет их к взаимному совершенствованию, не насилуя их»⁸. Самобытность России философ, конечно, более чем признавал, возлагая на нее миссию спасения европейско-христианского мира.

Ницше в своей борьбе с кумирами философствовал молотом, поскольку нес в себе нигилистический пафос тотального разрушения христианского и европейского мира. В России можно найти аналог подобному философствованию в текстах Д.И. Писарева. Соловьёв – бесконечный полемист, начиная с первых его работ. Но полемист, не отрицающий, а защищающий традиционные ценности, а потому – удивительный полемист, так резко отличающийся своей утонченной вежливостью как от современников, типа Писарева и Ницше, так и от более поздних публицистов революционной закваски, в споре пытающихся уничтожить противника. Соловьёв же пытается привлечь его на свою сторону. Несмотря на всем известную его склонность к усмешке, язвительности, он всегда свой спор начинает с попытки встать на точку зрения противника, а потом, исходя из его позиции, пояснить, что противник своими высказываниями как бы подтверждает то, что говорит сам Владимир Соловьёв. Это, конечно, стиль обращения не к массам, а к образованному обществу. И пропаганда им своих взглядов ориентировалась не на эмоции, не на магическое сознание масс, как, скажем, у Ленина, не на заклинания, а на рацию, это всегда обращение к разуму.

Приведем пример из его полемики с И.С. Аксаковым: «Вы полагаете любовь к народу главным образом в привязанности к *своему родному*. Ко *всему* ли, однако, *своему*? <...> Вы не требуете ни от кого любви и привязанности к расколу; напротив, из любви к России и к *самим раскольникам* вы должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового, отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть вместе с тем худое, недолжное. Значит, и по-вашему любить нужно не все свое, а только *хорошее*. Значит, во всяком деле не о том нужно спрашивать, *свое* или *не свое*, а о том, хорошо или худо»⁹.

У больших мыслителей бывают часто к концу жизни тексты, в которых внятно и ясно они проясняют задачу, пафос и смысл своих писаний, своих действий. Они адресованы не только интеллектуалам, а как бы всем, но тем самым и интеллектуалам, которые часто пытаются увидеть сложность не в глубине и простоте мысли, а в привходящих обстоятельствах. Для Владимира Соловьёва таким текстом стали «Воскресные письма», опубликованные им в 1897 г. Там им была напечатана и маленькая статья «О соблазнах», как бы камертон всей его публицистики. С.Н. Трубецкой называл публицистику Соловьёва, имея в виду прежде всего его полемику с русским национализмом, практической этикой. Статья из «Воскресных писем» ясно формулирует установку его этической публицистики.

Все факты жизни должны пройти через философское сомнение, ибо их мнимость весьма вероятна. Его позиция сродни позиции Декарта, писавшего о

возможности предположения, что не всеблагой Бог, являющийся верховным источником истины, но какой-нибудь злой гений употребил все свое искусство, чтобы обмануть человека. Отсюда, конечно, путь к глобальному скептицизму и неверию. Противопоставить этому можно только силу разума, который способен отделить ложную полуистину, соблазн, напущенный злым гением, от истины, по мысли Соловьёва, от христианской истины.

Поэтому все соблазны, как полагал Соловьёв, рождаются из отрицания разума, как главной регулирующей силы человеческого сознания. Он находил порой удивительно остроумные возражения против противопоставления народного духа и разума образованного общества. Возражая интеллектуалу Каткову, сделавшему ставку на борьбу с интеллигенцией, он писал: «Знаменитому редактору «Московских ведомостей» не раз приходилось выражать странную мысль, что тело России, т. е. низшие классы населения, пользуется полным здоровьем и что только *голова* этого великого организма, т. е. высший и образованный класс, страдает тяжким недугом. Вот удивительное здоровье, много обещающее в будущем! Московский публицист не заметил, что он сравнивал свое отечество с теми неизлечимо умалишенными, которым полнота физических сил не мешает страдать безнадежным слабоумием»¹⁰.

Но в маленькой статье он не иронизирует, а рассуждает вполне серьезно, хотя соловьёвская ирония, еле заметная, чувствуется в интонации: «Весь этот ложный и недобрый взгляд держится, конечно, на одной соблазнительной полуистине, дающей ему благовидность и обманывающей слабые и поверхностные умы. Полуистина состоит здесь в том, что сердечная вера и чувство противопоставляются умственному рассуждению вообще. Сказать, что такое противоположение *ложно* – нельзя. Ведь в самом деле сердце и ум, чувство и рассуждение, вера и мышление суть силы не только всегда различные, но иногда и несогласные между собой. Но ведь этот несомненный факт выражает только *половину* истины, и какое доброе побуждение, какой нравственный, сердечный или религиозный мотив заставляет нас останавливаться на этой половине и выдавить ее за целое? Ведь *согласие* сердца и ума, веры и разума лучше, желательнее их противоречия и вражды, это согласие есть норма, идеал»¹¹.

И далее поясняет: «Бывают бессердечные умствования о жизненных вопросах, бывают мысли, чуждые и враждебные вере. Но, во-первых, по какой логике можно заключить, что *всякое* действие ума, обращенное на живые предметы, непременно отрешается от сердечных чувств, что всякое мышление должно противопоставляться вере, а во-вторых, если бывают бессердечные умствования, то ведь бывают и безумные движения сердца, если встречается мышление противное вере, то ведь можно еще чаще встретить бессмысленные чувства и слепую, темную веру, и какая же из этих двух односторонностей лучше?»¹². Именно пафос интеллектуального прочтения «русских вопросов» вызвал к жизни одну из знаменитых его книг «Национальный вопрос в России», составленную из статей 70-х и 80-х гг. и в значительной степени посвященную разбору взглядов Данилевского. Неслучайно центральная статья первого выпуска соловьёвского сборника называлась «Россия и Европа».

Рассуждая об этой статье Соловьёва, Страхов начинает с иронической фразы, указывающей Соловьёву его «невысокий шесток»: «Как бы нам не ошибиться? Как бы нам не придать этой статье г. Влад. Соловьёва больше значения, чем он сам ей придает? В самом деле, несмотря на свой громкий и решительный тон, эта статья просто неуловима по зыбкости своих рассуждений, по разнообразию и неопределенности своих точек зрения. Недаром она так удобно нашла себе место в “Вестнике Европы”»¹³. Надо сказать, удар был точный, журнал Стасюлевича у нелиберально настроенных русских мыслителей вызывал неприязнь. О месте публикации сожалеет, скажем, и Леонтьев, считавший Соловьёва гениальным мыслителем: «Не скрою, что видеть имя Соловьёва на страницах г. Стасюлевича мне было тяжело»¹⁴.

При этом Леонтьев, как мало кто, понимал высшую цель построений Соловьёва, которую даже сторонники его поняли только после «Трёх разговоров», когда сам мыслитель разочаровался в осуществимости позитивной части своих умопостроений. А Леонтьев так определял главную духовную цель учения Соловьёва: «*Спасти посредством воссоединения церковей наибольшее количество христианских душ и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе, к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию*»¹⁵.

Конечно, в этой оценке стоит учесть эсхатологическое понимание самим Леонтьевым трагизма человеческого бытия, но существенно, что он увидел это у Соловьёва, когда и сам мыслитель это не чувствовал, а про антихриста догадка вообще удивительная. До соловьёвской «Краткой повести об антихристе» оставалось еще 10 лет, Леонтьеву прочитать ее не удалось, как мы знаем. То, что Леонтьев прозрел, Бердяев констатировал почти как эмпирический факт: ««Повесть об Антихристе» означала крах иллюзий Вл. Соловьёва, всех обманчивых образов и прежде всего обманного образа теократии»¹⁶.

Страхов высшего пафоса Соловьёва не понимал. Он пытался увидеть основу идей философа в его личном тщеславии¹⁷. Впрочем, он и в прозе Достоевского находил сладострастие личного опыта, приписав ему (в письме Льву Толстому) насилие над малолетней (откуда, мол, эта тема во всех романах писателя), а положительный момент его творчества — лишь в том, что Достоевский боролся с нигилизмом и принадлежал славянофильской партии. Такая узкая партийность никогда не позволяла увидеть истинное величие идеи и человека.

«Г. Соловьёв, конечно, провинился непростительно своими задорными и небрежными выходками»¹⁸ (*курсив мой. — В.К.*). <...> Все признали, кажется, единогласно, что заметки его отличаются более недоброжелательством, чем остроумием и меткостью¹⁹; вообще можно надеяться, что за справками о состоянии русской науки и русского искусства никто не пойдет в статью г. Соловьёва»²⁰, — иронизировал Страхов. Однако Соловьёв был сам русской философской наукой, да и русским искусством тоже, под влиянием которого вырос, к примеру, русский символизм. Но лицом к лицу лица не увидать. И Страхов пишет, что г. Соловьёв «на этот раз явился печальным образчиком немощи русского просвещения»²¹.

Выступление против соблазнов всегда вызывает гнев соблазненных или соблазнительей. Что же это были за соблазны, против которых так резко высту-

пал Соловьёв. Стоит уточнить. 1. Это преклонение перед невежеством народа, или народничество. 2. Рыночный патриотизм, приводящий к ненависти к иноплеменным, еврейским погромам и т.п. 3. Обнимающий и как бы санкционирующий два предыдущих, соблазн национализма. Соловьёв писал: «Мое порицание национализма вы относите то к целой России и к русскому народу, то к славянофилам. Отчего же бы, однако, не отнести его туда, куда оно по справедливости относится, именно к национализму, как дурному направлению народного духа? <...> Но важно вовсе не то, кто и в какой мере грешил или грешит национальным эгоизмом, а то, чтобы этот грех не возводился в праведность»²².

Ссылка оппонентов на то, что их поддерживает народное мнение, не принимается Соловьёвым. «Пусть откроют нам секрет, каким образом помимо развития сознания, помимо умственной просветительной работы можно воздействовать на сердце народа верующего, но темного, и по темноте своей способного совершать злые дела, принимая их за добрые? А пока этого секрета не откроют, приходится думать, что противоположение ума сердцу есть только соблазн лживого ума и испорченного сердца для обманчивого оправдания духовной немощи и умственной лени»²³.

Интересно, что противники старались как раз соловьевскому философизму приписать, так сказать, его «промахи». Скажем, Данилевский, рассуждая о теократической идее Соловьёва, требовавшей от России известной силы самоотречения, даже высказывал предположение, уж не подкуплен ли мыслитель. Но тут же сам себя окорачивал, замечая, что он имеет в виду, что Соловьёв был подкуплен складом своего ума: «Г. Соловьёв человек, без сомнения, с философским направлением ума. Качество довольно редкое и очень ценное, но, однако же, как и всякое умственное и даже как и всякое нравственное качество, имеющее и свои слабые стороны, заставляющие впадать в пороки своих добродетелей. Опыт нам показывает, что главный недостаток или порок философствующих умов, т.е. метафизически философствующих, есть склонность к симметрическим выводам. При построении мира по логическим законам ума, является схематизм, и в этих логических схемах все так прекрасно укладывается по симметрическим рубрикам»²⁴.

Но Соловьёв как раз принимает книгу Данилевского именно за известную научность, поскольку видит в его тексте способность к рассуждению, а не просты, пользуясь выражением Герцена, «завывания патриотического шакала». Герцен был резок, Соловьёв толерантен: «Данилевский имеет несомненное преимущество в выражении национальной идеи. Для прежних славянофилов эта идея была по преимуществу предметом поэтического, пророческого и ораторского вдохновения. Они ее воспевали и проповедовали. С другой стороны, в последние годы та же идея стала предметом рыночной торговли, оглашающей своими полуживотными криками все грязные площади, улицы и переулки русской жизни. Против поэзии и красноречия спорить нельзя. Бесплезно также препираться с завывающим и хрюкающим воплощением национальной идеи. Но, кроме этих двух крайностей, мы имеем, благодаря книге Данилевского, спокойное и трезвое, систематическое и обстоятельное изложение этой идеи в ее общих основах и в ее применении к России»²⁵. Соловьёв угадал опасность этого соблазна, хотя и не мог предвидеть, к чему приведет «завывающий» и

«рыночный» патриотизм. Увидели это его последователи. Рыночный характер патриотизма стал, по мысли Е. Трубецкого, одной из причин появления большевизма: «В дореволюционной России было сколько угодно образчиков <...> делового, коммерческого патриотизма. Патриотизм был связан с разнообразными выгодами для господствующего племени – с привилегиями по службе, со всякого рода экономическими преимуществами; на нем делали карьеру, им же пользовались, чтобы наживаться на счет инородцев, скупать по дешевой цене польские имения и брать взятки с евреев. Нередко в форму шовинистических еврейских погромов облакались те самые социальные инстинкты и аппетиты, которые потом нашли себе удовлетворение в большевизме»²⁶.

Идеальные структуры мысли редко реализуются в реальности. Тема корысти, выгоды, прикрытых идеологическими построениями, весьма ясно прозвучала в двух страшных революциях XX в. – большевистской и нацистской. Эта же тема корыстолюбия народных масс объясняет отчасти и неуспех соловьевской теократической идеи. Идея христианско-имперской теократии Соловьёва осталась утопией. Стоит сослаться на формулу П.Б. Струве: «Христианство, когда рухнула его вера в близкое наступление Царства Божия, психологически потускнело, стало более внутренним и более трудным. <...> Что бы ни говорили идеалисты материального Царства Божия (из школы Соловьёва), толпа утратила или все более и более утрачивает способность верить в его материализацию, а для религии внутренней необходимо перевоспитание человека, утончение всей его духовной личности. Носить и творить Бога в своей душе гораздо труднее, чем ожидать от него материальных чудес»²⁷. Христианское всеединство тем более не было принято. Всегда легче объявить часть народонаселения врагами, разрешить их уничтожение – с целью обогащения. И здесь большевистский пафос, когда было объявлено, что «все позволено» (ленинский лозунг «грабь награбленное»), мало чем отличался от площадного, корыстного национализма нацистов, да и сопровождался со стороны красных, как написал Бунин в «Окаянных днях», тоже еврейскими погромами.

Для Соловьёва и его последователей националистический патриотизм был еще и потому немислим, что они видели не русскую нацию, а Российскую империю. Страхов и Данилевский, по сути дела, выступают не только против идеи империи, но и против бытия реально существующей империи, закладывая в ее основание идею национализма как своего рода мину: «Для государства все равно, к какой народности принадлежит тот или другой его подданный; но мы теперь знаем, что для подданных это не бывает и не может быть все равно. И вот, в начале нынешнего века стала возникать сознательная идея (причем и знаменитый Фихте отличился), что наилучший порядок тот, когда пределы государства совпадают с пределами отдельного народа. <...> Европа ищет для себя самого естественного порядка и все тверже и спокойнее укладывается в свои естественные разделы; не будь великого *интернационального* зла, социализма, начало народности, исповедываемое Европой, обещало бы ей успокоение»²⁸.

Здесь очевидно абсолютное нечувствие к географическому трагизму геополитики, который очень понимал Соловьёв, поэтому предлагал идею всеединства, всемирную теократию. Страхов словно не видел внутренних расколов

внутри европейских государств (Пруссия и Бавария в Германии, Ирландия и Уэльс в Великобритании, Судеты, Чехия и Германия, освобождение Польши из-под власти России, Германии и Австрии, распад Австро-Венгерской империи, баски и Испания и т.д.). Немыслимо совпадение пределов отдельного государства с пределами одного народа, вспомним хотя бы Гердера, говорившего о невероятной смеси народов в Европе.

Европа после периода империй начала строить национальные государства. Стоит вспомнить лозунг Французской революции: «Vive la nation!».

Неслучайно Соловьёв ничего оригинально русского в национальном принципе не видел: «После наполеоновских войн принцип национальностей сделался ходячею европейскою идеей»²⁹. Беда в том, что Россия заимствовала эту идею без серьёзной рефлексии. А для России это было чревато катастрофой. У Запада долгое общее прошлое, поэтому до конца обособиться западноевропейские нации друг от друга не могут. Хотя со времен Петра Россия тоже европейская держава, но ее исторический опыт знал и уединенный непродуктивный период существования. Поэтому Соловьёв тревожится: «Утверждаясь в своем национальном эгоизме, обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное. Только при самом тесном, внешнем и внутреннем общении с Европой русская жизнь производила действительно великие явления (реформа Петра Великого, поэзия Пушкина)»³⁰.

Когда мы и сегодня говорим, что возникновение наций – продуктивный процесс, мы в отличие от Соловьёва имеем и больше ста лет размышлений о том, что это такое. Слово «нация» (nation), которые мы используем, в Европе означает государство, а не только нацию. Достаточен ряд словарных отсылок: 1. to build, establish a nation – создать, основать государство, 2. civilized nation – цивилизованное государство, 3. friendly nation – дружественное государство, 4. independent nation – независимое государство. И т.д. И, наконец, всем известная Организация Объединенных Наций. Здесь речь о государствах, а не о валлийцах, шотландцах, афроамериканцах, мордве, чукчах и т.д. У нас совершенно другая коннотация слова «нация». Простой пример. Знаменитый Петр Бернгардович Струве пытался утвердить идею русской нации в России наподобие английской, ведь и Великобритания – империя. У Струве ничего не получилось. Но когда в России заговорили о русской нации как основе государства, Российская империя, рухнула. Потому что в Англии нация – это не шотландцы, валлийцы, кельты, а прежде всего государство. Струве удивлялся, как же это большевики назвали свою партию не Русская, а Российская социал-демократическая партия большевиков? Они что, считают себя империей? Но так оно и получилось. Именно большевики восстановили, пусть в форме деспотии, но восстановили структуру Российской империи. Дело в том, что в народном сознании жили в перверсном соединении два соблазна – национализма и империализма. Это соединение, совмещение и дало вариант восточной деспотии с государственным национализмом, заменившим идею «площадного», «корыстного» интернационализма. Что в результате дало «яркое применение этого псевдонационального начала – в антисемитизме»³¹, как и предвидел Соловьёв.

Попытка Соловьёва соединить Римскую церковь с Российской империей была попыткой спасти Россию и Европу от ужасов национализма (которые он предощущал) и вытекала из его понимания Римской империи (не без влияния Данте): «Римская империя (которой нельзя же отказать в названии всемирной на том основании, что она не простиралась на готтентотов и ацтеков) вместе с новым культурным элементом, латинским, ввела в общее движение истории всю Западную Европу и Северную Африку, соединив с ними весь захваченный Римом мир восточно-эллинической культуры. Итак, вместо простой смены культурно-исторических типов древняя история представляет нам постепенное их *собираение* чрез подчинение более узких и частных образовательных элементов началам более широкой и универсальной культуры. Под конец этого процесса вся сцена истории занимается единою Римскою империей»³².

У России был шанс стать новым Римом. Как-то Герцен заметил, что Европа породила два огромных образования, в которых заключено, быть может, будущее европейского человечества, – Северо-Американские Штаты и Россию. Блок в 1913 г. опубликовал в журнале «Русское Слово» стихотворение под названием «Новая Америка».

Черный уголь – подземный мессия,
Черный уголь – здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

12 декабря 1913

Н. Валентинов увидел в этих строках противопоставление американизирующейся России старой Руси-Московии, «убогой финской Руси». Для него это был символ европеизации России, когда «в самых глубоких, доселе плохо или совсем не затронутых недрах появились и укреплялись элементы европеизма»³³. Для Валентинова американизация была равна европеизации, поскольку «европейская культура – и только она *одна* – есть культура *мировая*, как это утверждает Политик в «Трех разговорах» Вл. Соловьёва»³⁴. Но Россия проиграла. Рима, европеизирующего мир, несущего цивилизацию, право и свободу, из нее не вышло. После Октября «Россия под Сталиным превратилась в тоталитарную Московию»³⁵.

Разумеется (и здесь нельзя не согласиться с Яном Красицким), «выстраивая свою политическую модель, Соловьёв явно следовал курсом, когда-то обозначенным П. Чаадаевым, принадлежал к течению западников, которые будущность России видели в единении с культурой латинского Запада. Однако голос Соловьёва <...> был заглушен “воплями националистов” в России, и мало кто слышал его. В общественном масштабе несравненно более сильный отзвук и сочувствие находили популистские теории Н. Данилевского и Н. Стра-

хова»³⁶. Данилевский и Страхов курили фимиам кумиру национализма. А служба кумиру дело антихристианское и разрушающее основы нравственности. Но именно поэтому и дело побеждающее: зло легче собирает своих сторонников. А кумиры «крови» и «почва» всегда влиятельнее доводов разума. Национализм побеждал и в Германии. Как написал Шпенглер в начале 1930-х гг., «кровь снова стала сильнее духа»³⁷. Попытка создать всемирную теократию, конечно, была утопична, в отличие от реалистичности националистов. Об утопизме соловьевской идеи говорили многие (П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой и др.). Да и сам мыслитель изобразил ее иронически в своих «Трех разговорах», точнее, в «Краткой повести об антихристе». Там антихрист перехватывает все великие идеи Вл. Соловьёва о единстве церквей и пр. Но стоит привести фразу трагического мыслителя XIX в. Константина Леонтьева: «Церковность – культурна, созидательна; *голый племенной национализм* разрушительно плоск»³⁸. Можно, конечно, сказать, что в реальности теократическая идея русского мыслителя осталась как слабый отсвет в движении экуменизма. Но Соловьёв хотел, конечно, другого, он мечтал о преображении мира. Мир преобразился, но на иных основаниях.

Поэтому вернемся к теме соблазна идолократии. Действительно, в исторической реальности голос Соловьёва был заглушен воплями националистов. XX век продемонстрировал победу иррациональной народной стихии, где не было места разуму. Кумиры структурировали массовое сознание. Кумирные соблазны стали серьезно обсуждаемой темой. Семен Франк после Октябрьской революции создал одну из самых лучших своих книг «Крушение кумиров» (1924 г.), в которой рассказал, как поклонение кумирам привело к крушению России. На месте Российской империи выросла азиатская ленинско-сталинская деспотия, где принцип поклонения кумирам стал определяющим в духовной жизни общества, в том числе и кумиру национализма. В 1939 г. эмигрант Бердяев написал свою книгу об общественно-культурных соблазнах, где среди прочих была глава «Прельщение и рабство национализма». Там он вернулся к идеям Соловьёва: «Вл. Соловьёв, который в 80-е годы прошлого века вел борьбу против русского зоологического национализма, делает различие между эгоизмом и личностью. Он настаивает, что эгоизм национальный (=национализму) столь же предосудителен с христианской точки зрения, как и эгоизм личный. Обыкновенно думают, что эгоизм национальный есть нравственный долг личности и означает не эгоизм личности, а ее жертвенность и героизм. Это есть очень замечательный результат объективации. Когда самое дурное для человека переносится на коллективные реальности, признанные идеальными и сверхличными, то оно становится хорошим и даже превращается в долг. <...> Мораль нации не хочет знать человечности»³⁹. Что говорить! «Рыночный» национализм, превратившись в перверсный интернационализм большевизма, победил в России. Но в истории духа остаются идеи, а не интересы рынка.

Не забудем и того, что соблазн патриотизма, кумир национализма привел к падению великой державы. Таково доказательство от противного правоты Соловьёва.